

Счастье — текст 1 из 2

Посвящается Я. П. Полонскому

У широкой степной дороги, называемой большим шляхом, ночевала отара овец. Стерегли ее два пастуха. Один, старик лет восьмидесяти, беззубый, с дрожащим лицом, лежал на животе у самой дороги, положив локти на пыльные листья подорожника; другой молодой парень, с густыми черными бровями и безусый, одетый в рядно, из которого шьют дешевые мешки, лежал на спине, положив руки под голову, и глядел вверх на небо, где над самым его лицом тянулся Млечный путь и дремали звезды.

Пастухи были не одни. На сажень от них в сумраке, застилавшем дорогу, темнела оседланная лошадь, а возле нее, опираясь на седло, стоял мужчина в больших сапогах и короткой чумарке, по всем видимостям, господский объездчик. Судя по его фигуре, прямой и неподвижной, по манерам, по обращению с пастухами, лошадью, это был человек серьезный, рассудительный и знающий себе цену; даже в потемках были заметны в нем следы военной выправки и то величаво-снисходительное выражение, какое приобретается от частого обращения с господами и управляющими.

Овцы спали. На сером фоне зари, начинавшей уже покрывать восточную часть неба, там и сям видны были силуэты не спавших овец; они стояли и, опустив головы, о чем-то думали. Их мысли, длительные, тягучие, вызываемые представлениями только о широкой степи и небе, о днях и ночах, вероятно, поражали и угнетали их самих до бесчувствия, и они, стоя теперь как вкопанные, не замечали ни присутствия чужого человека, ни беспокойства собак.

В сонном, застывшем воздухе стоял монотонный шум, без которого не обходится степная летняя ночь; непрерывно трещали кузнечики, пели перепела, да на версту от отары в балке, в которой тек ручей и росли вербы, лениво посвистывали молодые соловьи.

Объездчик остановился, чтобы попросить у пастухов огня для трубки. Он молча закурил и выкурил всю трубку, потом, ни слова не сказав, облокотился оседло и задумался. Молодой пастух не обратил на него никакого внимания; он продолжал лежать и глядеть на небо, старик же долго оглядывал объездчика и спросил:

Никак Пантелей из Макаровской экономии?

Я самый, ответил объездчик.

То-то я вижу. Не узнал богатым быть. Откуда бог несет?

Из Ковылевского участка.

Далече. Под скопчину отдаете участок?

Разное. И под скопчину, и в аренду, и под бакчи. Я, собственно, на мельницу ездил.

Большая старая овчарка грязно-белого цвета, лохматая, с клочьями шерсти у глаз и носа, стараясь казаться равнодушной к присутствию чужих, раза три покойно обошла вокруг лошади и вдруг неожиданно, с злобным, старческим хрипением бросилась сзади на объездчика, остальные собаки не выдержали и повскакали со своих мест.

Цыц, проклятая! крикнул старик, поднимаясь на локте. А, чтоб ты лопнула, бесова тварь!

Когда собаки успокоились, старик принял прежнюю позу и сказал покойным голосом:

А в Ковылях, на самый Вознесеньев день, Ефим Жменя помер. Не к ночи будь сказано, грех таких людей сгадывать, поганый старик был. Небось слышал?

Нет, не слышал.

Ефим Жменя, кузнеца Степки дядя. Вся округа его знает. У, да и проклятый же старик! Я его годов шестьдесят знаю, с той поры, как царя Александра, что француза гнал, из Таганрога на подводах в Москву везли. Мы вместе ходили покойника царя встречать, а тогда большой шлях не на Бахмут шел, а с Есауловки на Городище, и там, где теперь Ковыли, дудачьи гнезды были что ни шаг, то гнездо дудачье. Тогда еще я заметил, что Жменя душу свою сгубил и нечистая сила в нем. Я так замечаю: ежели который человек мужицкого звания всё больше молчит, старушечьими делами занимается да норовит в одиночку жить, то тут хорошего мало, а Ефимка, бывало, смолodu всё молчит и молчит, да на тебя косо глядит, всё он словно дуется и пыжится, как пивень перед куркою. Чтоб он в церковь пошел, или на улицу с ребятами гулять, или в кабак не было у него такой моды, а всё больше один сидит или со старухами шепчется. Молодым был, а уж в пасечники да в бакчевники нанимался. Бывало, придут к нему добрые люди на бакчи, а у него арбузы и дыни свистят. Раз тоже поймал при людях жуку, а она го-го-го-го! захохотала...

Это бывает, сказал Пантелей.

Молодой пастух повернулся на бок и пристально, подняв свои черные брови, поглядел на старика.

А ты слышал, как арбузы свистят? спросил он.

Слышать не слышал, бог миловал, вздохнул старик, а люди сказывали.

Мудреного мало... Захочет нечистая сила, так и в камне свистеть начнет.

Перед волей у нас три дня и три ночи скеля* гудела. Сам слышал. А жука хохотала, потому Жменя заместо жуки беса поймал.

Старик что-то вспомнил. Он быстро поднялся на колени и, пожимаясь, как от холода, нервно засовывая руки в рукава, залепетал в нос, бабьей скороговоркой:

Спаси нас, господи, и помилуй! Шел я раз бережком в Новопавловку. Гроза собиралась, и, такая была буря, что сохрани царица небесная, матушка... Поспешаю я что есть мочи, гляжу, а по дорожке, промеж терновых кустов терен тогда в цвету был белый вол идет. Я и думаю: чей это вол? Зачем его сюда занесла нелегкая? Идет он, хвостом машет и му-у-у! Только, это самое, братцы, догоняю его, подхожу близко, глядь! а уж это не вол, а Жменя. Свят, свят, свят! Сотворил я крестное знамение, а он глядит на меня и бормочет, бельмы выпучивши. Испужался я, страсть! Пошли рядом, боюсь я ему слово сказать, гром гремит, молонья небо полосует, вербы к самой воде гнутся, вдруг, братцы, накажи меня бог, чтоб мне без покаяния помереть, бежит поперек дорожки заяц... Бежит, остановился и говорит по-человечьи: Здорово, мужики! Пошла, проклятая! крикнул старик на лохматого пса, который опять пошел обходом вокруг лошади. А, чтоб ты издохла!

Это бывает, сказал объездчик, всё еще опираясь на седло и не шевелясь; сказал он это беззвучным, глухим голосом, каким говорят люди, погруженные в думу.

Это бывает, повторил он глубокомысленно и убежденно.

У, стервячий был старик! продолжал старик уже не так горячо. Лет через пять после воли его миром в конторе посекали, так он, чтобы, значит, злобу свою доказать, взял да и напустил на все Ковыли горловую болезнь.

Повымерло тогда народу без счету, видимо-невидимо, словно в холеру... А как он болезнь напустил? спросил молодой пастух после некоторого молчания.

Известно, как. Тут ума большого не надо, была бы охота. Жменя людей гадючьим жиром морил. А это такое средство, что не то, что от жиру, даже от духу народ мрет.

Это верно, согласился Пантелей.

Хотели его тогда ребята убить, да старики не дали. Нельзя его было убивать: он знал места, где клады есть. А кроме него ни одна душа не знала. Клады тут заговоренные, так что найдешь и не увидишь, а он видел. Бывало, идет бережком или лесом, а под кустами и скелями огоньки, огоньки, огоньки...

Огоньки такие, как будто словно от серы. Я сам видел. Все так ждали, что Жменя людям места укажет или сам выроет, а он сказано, сама собака не ест и другим не дает так и помер: ни сам не вырыл, ни людям не показал.

Объездчик закурил трубку и на мгновение осветил свои большие усы и острый, строгого, солидного вида нос. Мелкие круги света прыгнули от его

рук к картузу, побежали через седло по лошадиной спине и исчезли в гриве около ушей.

В этих местах много кладов, сказал он.

И, медленно затянувшись, он поглядел вокруг себя, остановил свой взгляд на белеющем востоке и добавил:

Должны быть клады.

Что и говорить, вздохнул старик. По всему видать, что есть, только, брат, копать их некому. Никто настоящих местов не знает, да по нынешнему времени, почитай, все клады заговоренные. Чтоб его найти и увидеть, талисман надо такой иметь, а без талисмана ничего, паря, не поделаешь. У Жмени были талисманы, да нешто у него, у чёрта лысого, выпросишь? Он и держал-то их, чтоб никому не досталось.

Молодой пастух подполз шага на два к старику и, подперев голову кулаками, устремил на него неподвижный взгляд. Младенческое выражение страха и любопытства засветилось в его темных глазах и, как казалось в сумерках, растянуло и сплющило крупные черты его молодого, грубого лица. Он напряженно слушал.

И в писаниях писано, что кладов тут много, продолжал старик. Это что и говорить... и говорить нечего. Одному новопавловскому старику солдату в Ивановке ярлык показывали, так в том ярлыке напечатано и про место, и даже сколько пудов золота, и в какой посуде; давно б по этому ярлыку клад достали, да только клад заговоренный, не подступишься.

Отчего же, дед, не подступишься? спросил молодой.

Должно, причина какая есть, не сказывал солдат. Заговоренный... Талисман надо.

Старик говорил с увлечением, как будто изливал перед проезжим свою душу. Он гнусавил от непривычки говорить много и быстро, заикался и, чувствуя такой недостаток своей речи, старался скрасить его жестикულიацией головы, рук и тощих плеч; при каждом движении его холщовая рубаха мялась в складки, ползла к плечам и обнажала черную от загара и старости спину. Он обдергивал ее, а она тотчас же опять лезла. Наконец старик, точно выведенный из терпения непослушной рубахой, вскочил и заговорил с горечью:

Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Так и пропадает добро задаром, без всякой пользы, как полова или овечий помет! А ведь счастья много, так много, парень, что его на всю бы округу хватило, да не видит его ни одна душа! Дождутся люди, что его паны выроют или казна отберет. Паны уж начали курганы копать... Почуяли! Берут их завидки на мужицкое счастье! Казна тоже себе на уме. В законе так писано, что ежели который мужик найдет клад, то чтоб к начальству его представить. Ну, это

погоды не дождешься! Есть квас, да не про вас!

Старик презрительно засмеялся и сел на землю. Обьездчик слушал со вниманием и соглашался, но по выражению его фигуры и по молчанию видно было, что всё, что рассказывал ему старик, было не ново для него, что это он давно уже передумал и знал гораздо больше того, что было известно старику. На своем веку я, признаться, раз десять искал счастья, сказал старик, конфузливо почесываясь. На настоящих местах искал, да, зная, попадал всё на заговоренные клады. И отец мой искал, и брат искал ни шута не находили, так и умерли без счастья. Брату моему, Илье, царство ему небесное, один монах открыл, что в Таганроге, в крепости, в одном месте под тремя камнями клад есть и что клад этот заговоренный, а в те поры было это, помню, в тридцать восьмом году в Матвеевом Кургане армяшка жил, талисманы продавал. Купил Илья талисман, взял двух ребят с собой и пошел в Таганрог. Только, брат, подходит он к месту в крепости, а у самого места солдат с ружьем стоит...

В тихом воздухе, рассыпаясь по степи, пронесся звук. Что-то вдали грозно ахнуло, ударилось о камень и побежало по степи, издавая: тах! тах! тах! тах!.. Когда звук замер, старик вопросительно поглядел на равнодушного, неподвижно стоявшего Пантелея.

Это в шахтах бадья сорвалась, сказал молодой, подумав.

Уже светало. Млечный путь бледнел и мало-помалу таял, как снег, теряя свои очертания. Небо становилось хмурым и мутным, когда не разберешь, чисто оно или покрыто сплошь облаками, и только по ясной, глянцевиной полосе на востоке и по кое-где уцелевшим звездам поймешь, в чем дело.

Первый утренний ветерок без шороха, осторожно шевеля молочаеи и бурными стеблями прошлогоднего бурьяна, пробежал вдоль дороги.

Обьездчик очнулся от мыслей и встряхнул головой. Обеими руками он потряс седло, потрогал подпругу и, как бы не решаясь сесть на лошадь, опять остановился в раздумье.

Да, сказал он, близок локоть, да не укусишь... Есть счастье, да нет ума искать его.

И он повернулся лицом к пастухам. Строгое лицо его было грустно и насмешливо, как у разочарованного.

Да, так и умрешь, не повидавши счастья, какое оно такое есть... сказал он с расстановкой, поднимая левую ногу к стремяни. Кто помоложе, может, и дождется, а нам уж и думать пора бросить.

Поглаживая свои длинные, покрытые росой усы, он грузно уселся на лошади и с таким видом, как будто забыл что-то или недосказал, прищурил глаза на даль. В синеватой дали, где последний видимый холм сливался с туманом, ничто не шевелилось: сторожевые и могильные курганы, которые там и сям

высились над горизонтом и безграничною степью, глядели сурово и мертво; в их неподвижности и беззвучии чувствовались века и полное равнодушие к человеку; пройдет еще тысяча лет, умрут миллиарды людей, а они всё еще будут стоять, как стояли, нимало не сожалея об умерших, не интересуясь живыми, и ни одна душа не будет знать, зачем они стоят и какую степную тайну прячут под собой.

Проснувшиеся грачи, молча и в одиночку, летали над землей. Ни в ленивом полете этих долговечных птиц, ни в утре, которое повторяется аккуратно каждые сутки, ни в безграничности степи ни в чем не видно было смысла. Обьездчик усмехнулся и сказал:

Экая ширь, господи помилуй! Пойди-ка, найди счастье! Тут, продолжал он, понизив голос и делая лицо серьезным, тут наверняка зарыты два клада. Господа про них не знают, а старым мужикам, особливо солдатам, до точности про них известно. Тут, где-то на этом кряже (обьездчик указал в сторону нагайкой), когда-то во время оно разбойники напали на караван с золотом; золото это везли из Петербурга Петру-императору, который тогда в Воронеже флот строил. Разбойники побили возчиков, а золото закопали, да потом и не нашли. Другой же клад наши донские казаки зарыли. В двенадцатом году они у француза всякого добра, серебра и золота награбили видимо-невидимо. Когда ворочались к себе домой, то прослышали дорогой, что начальство хочет у них отобрать всё золото и серебро. Чем начальству так зря отдавать добро, они, молодцы, взяли и зарыли его, чтоб хоть детям досталось, а где зарыли неизвестно.

Я слыхал про эти клады, угрюмо пробормотал старик.

Да, задумался опять Пантелей. Так...

Наступило молчание. Обьездчик задумчиво поглядел на даль, усмехнулся и тронул повода всё с тем же выражением, как будто забыл что-то или недосказал. Лошадь неохотно пошла шагом. Проехав шагов сто, Пантелей решительно встряхнул головой, очнулся от мыслей и, стегнув по лошади, поскакал рысью.

Пастухи остались одни.

Это Пантелей из Макаровской экономии, сказал старик. Полтора ста в год получает, на хозяйских харчах. Образованный человек...

Проснувшиеся овцы их было около трех тысяч неохотно, от нечего делать принялись за невысокую, наполовину утопанную траву. Солнце еще не взошло, но уже были видны все курганы и далекая, похожая на облако, Саур-Могила с остроконечной верхушкой. Если взобраться на эту Могилу, то с нее видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо, видны барские усадьбы, хутора немцев и молокан, деревни, а дальнзоркий калмык увидит даже город и поезда железных дорог. Только отсюда и видно, что на этом

свете, кроме молчаливой степи и вековых курганов, есть другая жизнь, которой нет дела до зарытого счастья и овечьих мыслей.

Старик нащупал возле себя свою герлыгу, длинную палку с крючком на верхнем конце, и поднялся. Он молчал и думал. С лица молодого еще не сошло младенческое выражение страха и любопытства. Он находился под впечатлением слышанного и с нетерпением ждал новых рассказов.

Дед, спросил он, поднимаясь и беря свою герлыгу, что же твой брат, Илья, с солдатом сделал?

Старик не расслышал вопроса. Он рассеянно поглядел на молодого и ответил, пошамкав губами:

А я, Санька, всё думаю про тот ярлык, что в Ивановке солдату показывали. Я Пантелею не сказал, бог с ним, а ведь в ярлыке обозначено такое место, что даже баба найдет. Знаешь, какое место? В Богатой Балочке, в том, знаешь, месте, где балка, как гусиная лапка, расходится на три балочки; так в средней.

Что ж, будешь рыть?

Попытаю счастья...

Дед, а что ты станешь делать с кладом, когда найдешь его?

Я-то? усмехнулся старик. Гм!.. Только бы найти, а то... показал бы я всем кузькину мать... Гм!.. Знаю, что делать...

И старик не сумел ответить, что он будет делать с кладом, если найдет его. За всю жизнь этот вопрос представился ему в это утро, вероятно, впервые, а судя по выражению лица, легкомысленному и безразличному, не казался ему важным и достойным размышления. В голове Саньки копошилось еще одно недоумение: почему клады ищут только старики и к чему сдалось земное счастье людям, которые каждый день могут умереть от старости? Но недоумение это Санька не умел вылить в вопрос, да едва ли бы старик нашел, что ответить ему.

Окруженное легкою мутью, показалось громадное багровое солнце. Широкие полосы света, еще холодные, купаясь в росистой траве, потягиваясь и с веселым видом, как будто стараясь показать, что это не надоело им, стали ложиться по земле. Серебристая полынь, голубые цветы свинячей цибульки, желтая сурепа, васильки всё это радостно запестрело, принимая свет солнца за свою собственную улыбку.

Старик и Санька разошлись и стали по краям отары. Оба стояли, как столбы, не шевелясь, глядя в землю и думая. Первого не отпускали мысли о счастье, второй же думал о том, что говорилось ночью; интересовало его не самое счастье, которое было ему не нужно и непонятно, а фантастичность и сказочность человеческого счастья.

Сотня овец вздрогнула и в каком-то непонятном ужасе, как по сигналу,

бросилась в сторону от отары. И Санька, как будто бы мысли овец, длительные и тягучие, на мгновение сообщились и ему, в таком же непонятном, животном ужасе бросился в сторону, но тотчас же пришел в себя и крикнул:

Тю, скаженные! Перебесились, нет на вас погибели!

А когда солнце, обещая долгий, непобедимый зной, стало припекать землю, всё живое, что ночью двигалось и издавало звуки, погрузилось в полусон.

Старик и Санька со своими герлыгами стояли у противоположных краев отары, стояли не шевелясь, как факиры на молитве, и сосредоточенно думали. Они уже не замечали друг друга, и каждый из них жил своей собственной жизнью. Овцы тоже думали...

скала